

ВЛ. ЛИДИН



Все в Алексее Толстом было талантливо. Огромной мерой был ему отпущен талант, и его таланту писателя сопутствовали многие другие таланты. Он мог бы быть великолепным актером, всегда поражая артистичностью, будь то выступление на вечере с чтением своих произведений, бытовые словечки или литературная выдумка, к чему неизменно и с неизменным мастерством был он склонен.

Удивительно, как много народности было в этом человеке. Точно с младенческих лет шепнул ему народ заветное слово на ушко, и народная речь, образная, со своеобразными его, Алексея Толстого, оборотами и синтаксиче-

скими особенностями, зазвучала с самых первых его книг. Он чувствовал русский язык, как музыкальная душа чувствует музыку. Прошлое русского народа было для него источником этого чистого потока русской речи, ее органической мелодии, восходившей к былинным записям и «Слову о полку Игореве». Именно поэтому, обратившись к эпохе Петра, а впоследствии Ивана Грозного, он ощущал себя в этих эпохах своим человеком, не затрудняясь в языке, отдаленном столетиями: это был язык народа, а язык народа Толстой понимал и чувствовал.

Но к писательскому его таланту, которому обязаны мы многими превосходными книгами Толстого, надо прибавить его трудолюбие. Жизнелюбец, не пропустивший, наверное, ни одного случая повеселиться, Толстой может служить образцом писательского трудолюбия. Завет Плиния: *Nulla dies sine linea*¹ — мог бы служить девизом Толстого. Какая бы ни была шумная ночь накануне, как бы поздно он ни лег, — утром Толстой был в труде. Поставив рядом кофейничек с черным кофе, он уже стучал на машинке — поистине великий трудолюбец, писатель по профессии, а не только по наитию или ленивому вдохновению, чем иногда грешат наши писатели. Ни одного дня без черточки, и я не знаю, много ли дней осталось для Толстого без строчки, без страницы, хотя бы полустраницы ежедневного писательского труда. С утра в тишине квартиры, в большом, отличном доме на Малой Молчановке, уже стрекотала в те годы машинка под рукой Толстого, как стрекотала она затем на Ждановской набережной в Ленинграде, в Детском Селе, и снова в Москве, и под Москвой — в Барвихе...

Все было в нем органично — знакомый толстовский смешок с нарочитым похрапываньем, жест руки, которой плотно обтирал он лицо, прежде чем сказать что-нибудь записательное или выступить в публичном месте, тесное сощуривание на миг глаз, чтобы потом с силой разлепить веки (точно смывая минувшее впечатление для лучшей зоркости), его манера набивать трубочку, — все было особое, толстовское. Своим несколько высоким голосом умел он пользоваться превосходно, смешал, но сам не смеялся, а только скандируя смех, любитель крутых словечек и ве-

¹ Ни одного дня без черточки (*лат.*).

ликолепный рассказчик. Я помню, как он скандализировал однажды на Тверском бульваре драматурга Мусина-Пушкина, ревниво относившегося к своему происхождению.

— Эй, отпрыск, куда идтить потрафляешь? — крикнул он, к конфузу Мусина-Пушкина и несомненному удовольствию оглянувшихся людей.

В другой раз в фойе Московского Художественного театра к Толстому подошел какой-то незнакомый ему развязный молодой человек и спросил, почему в этом театре не идут его, Толстого, пьесы. Как известно, отношения с МХАТом у Толстого не налаживались, что было не раз причиной его огорчений.

— Почему же не идут мои пьесы? Идут, — ответил Толстой с готовностью. — Например, «Царь Федор Иоаннович». В будущем году собираются «Бориса Годунова» поставить.

— Вызывать будет автора, как пить дать, — сказал он, когда молодой человек отошел. — Слава, брат, ничего не поделаешь, — вздохнул он тут же со смирением. — Думаешь, легко мне дался «Князь Серебряный»?

Как-то на Тверской обогнал нас мальчишка, продававший газеты и яростно возглашавший последние новости. Один из прохожих прослушал, о чем мальчишка сообщает, и переспросил у Толстого, что случилось.

— Попытка землетрясения в Португалии, — ответил Толстой сокрушенно. — Ужасная неприятность!

Однажды он обратился ко мне с серьезным предложением:

— Слушай, пойдем покупать предков. У каждого должны быть приличные предки. Почему тебе не иметь, например, предка-генерала?

Мы долго бродили с ним в этот день по комиссионным магазинам, и он настойчиво убеждал меня купить портрет какого-то мрачного мизантропа, уверяя, что у меня есть с ним даже фамильное сходство. Я купил тогда женский портрет, довольствуясь родством по женской линии; Толстой же приобрел портрет екатерининского вельможи.

— Будет прапрадедом, — заявил он серьезно. — Аким Петрович Толстой.

Несколько дней спустя, разочаровавшись в прапраде-

де, он торжественно вручил его нашему общему другу, драматургу Павлу Сухотину.

— Пускай висит у тебя,— сказал он, оглядывая уютную комнату в первом этаже дома на Собачьей площадке,— а то ведь без предков тяжело тебе, Паша.

Предок этот долго потом гулял по рукам, так и не найдя себе подходящего потомка.

Толстой любил делать на своих книгах смешные дарственные надписи. У меня есть его книга с жалостной надписью: «От отца многочисленного семейства»; или «Дорогой барон Л., очень приятно было, встретив Вас на скачках, узнать Ваше мнение о здоровье графини Ж.»; подпись «Граф Т., Миллионная, 26. С.-Петербург»,— и над всем этим изображена корона. Есть у меня книга и с такой надписью: «Лидину—Толстой. Помнишь, как я разбил тебя под Аустерлицем?»

В 1923 году Толстой вернулся из-за границы в Москву. В Доме Герцена, впервые после возвращения Толстого, был устроен вечер, на котором Толстой читал свой недавно написанный рассказ «Рукопись, найденная под кроватью». В этой вещи Толстой с предельной искренностью и внутренней силой разоблачал ту группу русской интеллигенции, которая бежала от революции и растеряла в эмиграции последние остатки своего идейного багажа.

То ли оттого, что тема была слишком чужой, или не в настроении оказались собравшиеся, Толстого встретили холодновато. Он, неизменно пользовавшийся на вечерах успехом даже только как чтец, был разочарован. В очень дурном настроении покинул он залу герценовского дома. Мы, несколько человек, чтобы смягчить впечатление, позвали его поужинать. Почему-то с Толстым увязался полупьяный известный поэт-символист с длинной, пеклеваником, бородой, сопровождаемый странной, точно на смерть напуганной женой в сандалиях на босу ногу. Однако ни шашлык, ни вино в погребке на Тверской не могли исправить настроения Толстого.

— Только по совести,— спросил он, когда мы вышли из погребка и остались одни,— какое впечатление произвел на тебя мой рассказ?

Я рассказ похвалил, рассказ мне действительно понравился. Над Тверским бульваром, над памятником Пушкину, уже зеленело небо рассвета.

— Нет, о русской интеллигенции надо, конечно, написать большую, серьезную вещь,— сказал Толстой,— со всеми сложными ходами ее судьбы. Куда только не заползал русский интеллигент! И у Бориса и Глеба стучал лбом об пол, и на Принцевых островах в Турции, и в Париже, и в Берлине я его повидал. Эти-то кончены! — добавил он, как бы приветствуя закономерность истории.— Видишь, даже рассказ о них никого особенно не заинтересовал. А вот о той интеллигенции, которая помогала делать революцию,— о ней надо написать!

Мы вернулись домой, Толстой остался у меня ночевать, но спать он мне не дал: вчерне, еще только нащупывая, он стал рассказывать о продолжении своей эпопеи, которая дополнилась «Хмурым утром».

Перечитывая теперь «Хождение по мукам», книгу, которой суждено остаться памятником наших переходных лет, я вспоминаю зеленое рассветное небо над Тверским бульваром и необычайно серьезного, углубленного в себя Толстого, как бы вынашивавшего тему, которой обязан дать жизнь.

Толстой понимал толк в вещах, вещи у него были отличные: хорошо сделанная вещь дополняла его эстетическое отношение к жизни, а здесь он был требователен. Особенно если дело касалось литературы и родного Толстому языка.

В 1922 году я встретился с Толстым в Берлине. Он заведовал тогда литературным приложением к одной из газет и напечатал в нем немало рассказов советских авторов. Но язык некоторых авторов его волновал, с языком что-то случилось. Не в соответствии с природой русского языка сломался синтаксис, и при этом совершенно незакономерно. Толстой встретил меня встревоженно.

— Слушай, что у вас случилось с языком? — спросил он очень серьезно.— Все переставлено, глагол куда-то уехал.

Уж действительно не пропустил ли он каких-то коренных перемен в языке — революция в те годы многое пересматривала,— но это, конечно, было не изменение языка, а мода, и при этом дурная.

«Должен сказать, что у вас, москвичей, что-то случилось с языком,— пишет он мне в предшествовавшем нашей встрече письме,— прилагательное позади существительного, а глагол — в конце предложения. Мне кажется, что это неправильно. Члены предложения должны быть на местах: острота фразы должна быть в точности определения существительного, движение фразы — в психологической неизбежности глагола. Искусственная фраза — наследие 18 века — умерла, теперь писать языком Тургенева невозможно, язык должен быть приближен к речи, но тут-то и появляются его органические законы: сердитый медведь, а не медведь сердитый, но если уже — медведь сердитый, то это обусловлено особым, нарочитым жестом рассказчика: медведь, а потом — пальцем в сторону кого-нибудь и отдельно: сердитый. И т. д. Глагол же в конце фразы, думаю, ничем не оправдывается. Прости, что пишу об этом, но меня очень волнует формальное изменение языка, я думаю, что оно идет по неверному пути. Сейчас, конечно,— искания. Все мы ищем новые формы, но они — в простоте и в динамике языка, а не в особом его превращении и не в статике».

В этот день, когда зашел у нас разговор о языке — серьезный и взволновавший Толстого,— у меня была с собой стопка верстки моей книжки, выпускаемой одним из берлинских издательств. Когда мы вышли на улицу, чтобы провести вечер вместе, Толстой вдруг внимательно покопился на стопку листков в моей руке.

— Что это у тебя? — спросил он.

— Верстка моей книжки.

— Покажи-ка.

Он взял из моих рук верстку и вдруг, точно конфетти на карнавале, стал разбрасывать ее по улице.

— Что,— ликовал он затем, когда я, лавируя между машинами, собирал по всей улице листки,— пособирай, пособирай... будете знать, как разбрасывать фразу! Придет время, начнете так же собирать.

Он преподавал мне предметный урок правил русской грамматики в ту пору, когда фраза действительно летела неизвестно куда и когда некая словесная заумь становилась модой не для одного литератора.

В предисловии к прекрасной книге ранних своих сказок Толстой написал: «Мне казалось, что нужно сначала

понять первоосновы — землю и солнце. И, проникнув в их красоту через образный, простой и сильный народный язык, утвердить для самого себя, что да и что нет...»

Тема становления России в великую преобразовательную эпоху Петра пришла к Толстому давно,— кажется, еще в семнадцатом году. Одной из первых его проб в этой исторической области был рассказ «День Петра». Рассказ этот Толстой любил, дорожил им и неоднократно читал его на литературных вечерах. Из этого первичного зерна возник впоследствии «Петр Первый». Обращение к исторической теме не было для Толстого уходом от современности. Все его исторические вещи современны, и в этом одна из прелестей его таланта. Россию, ход ее сил, ее историю, ее прошлое Толстой чувствовал применительно к сегодняшнему дню. Его книги не уводят в историю, а возвращают историю к современности. Толстой превосходно знал, что ему удалось и что у него не получилось. В этом отношении он был строг и критичен к себе. Как-то на даче у него в гостях я попросил подарить мне одну из его книжек.

— Нет,— сказал он резко,— эту не дам. Ту, которую пишу сейчас, дам!

Он сказал это по отношению к себе значительно резче, чем я привожу. Он не принадлежал к числу тех успокоившихся писателей, которые удовлетворены всем, что вышло из-под их пера. Как писатель он не был никогда спокоен, он всегда находился в движении. Это было в соответствии с его жизнелюбием и отзывчивостью на любой призыв жизни — по крайней мере в те годы, когда мы часто встречались.

«Первое о деле, второе о потехе,— пишет он в одном из писем.— Потеха: не хочешь ли ехать с компанией в 6 человек из Уральска на лодках до Лбищенска и далее,— сколько захочется. Охота девственная, болотная и степная птица, гуси и пр.»...

Он, помнится, и поехал в такое или подобное путешествие, быстрый на подъем, любитель путешествовать, «легкий человек и дерево опять же хорошо понимает», как его определил общий наш знакомый, взыскательный красноречивый Симочкин.

Зайдя однажды со мной к нему, Толстой мгновенно определил разделанный под красное дерево американский

орёх, и столяр, усмехнувшись разоблаченной подделке, сказал возвышенно:

— Глаз! Тебе бы по дереву, Алексей Николаевич, работать,— что в его устах было высшей похвалой, ибо он признавал только один вид искусства — работу по дереву.

В другой раз между ними произошел такой диалог:

— Под павловское подгоняете? — спросил, критически осматривая кресло, Толстой.

— Да ведь павловское, Алексей Николаевич,— ответил Симочкин.

— А резьбу зачем снял?

Симочкин:

— Это?

Толстой:

— Это.

— Действительно, была резьба,— вздохнул Симочкин.— А вы откуда, Алексей Николаевич, знаете?

— А дырочки от шпенок кто затер?

Симочкин покрутил головой.

— Да... от вас не уйдешь. Есть одна дамочка... подай ей все павловское. Вот я ей и подаю. А нам с вами, Алексей Николаевич, все это ни к чему,— добавил он, признавая равенство Толстого с ним в познании его искусства, что было равносильно признанию в Толстом настоящего мастера.

Вещи Толстой чувствовал иногда просто по инстинкту. У него не раз были замечательные находки именно в силу артистического ощущения вещи. Особенно в отношении всего, что касалось русского искусства, будь то подделки крепостных, или живописные их работы, или созданная руками удивительных русских мастеров мебель. Все, что было связано с Россией, с ее историей, было дорого его сердцу. Он и воскрешал предметный мир миновавших эпох с поразительной достоверностью, утробно, всем существом их чувствуя. Русский из русских, с оружием в руках — статья, великолепными по силе и гневу,— поднялся он на защиту своей страны, когда напали на нее фашисты.

В 1943 году я встретился с ним в Харькове, куда он приехал в качестве члена Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию фашистских злодеяний.

— Подлецами мы будем,— сказал он,— если не напишем книг об этой войне... чтобы внуки наши знали, что такое фашизм! — Он был усталым и механически набил табаком свою трубку.— Немецкий табак,— не удержался он все-таки от своего, толстовского.— Сорт «Тюфяк моей бабушки».

Это свое, толстовское, в огромной степени вложил он в написанные им книги. Оттого в них так много жизнеутверждения, оттого так трогательны его женщины-героини и так жадно, несмотря на все препятствия, стремятся к жизни герои. В книгах, которые он написал, всегда слышен тембр его голоса, его смешок, его интонации, а все это было в Толстом жизненно и заразительно.

— Обаятельный гражданин,— сказал про него как-то управдом на Собачьей площадке, где Толстой подолгу жила.— Отпускает же столько господь одному! — Впоследствии, признавшись, что не читал ни одной книги Толстого, он добавил: — Ну, если пишет, как говорит,— должно быть, что-нибудь особенное.

А Толстой и говорил, как писал, и писал, как говорил, и в этом обаяние его большого таланта. Оттого не поблекнут его лучшие книги, и, возвращаясь к ним, всегда встретишься с Толстым, каким его знал,— великолепным рассказчиком, полным жадного внимания к жизни. Надо прочесть последние главы третьей части «Петра», которые — уже обреченный, уже умирающий — написал Толстой, чтобы еще раз подивиться блеску не сдававшегося до последнего часа его таланта и трудолюбию писателя, остановить которое могла только смерть.